

ЭРИХ МАРИЯ  
**РЕМАРК**

На Западном фронте  
без перемен



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Эрих Мария Ремарк

# **На Западном фронте без перемен**

«Издательство АСТ»

1929

УДК 821.112.2-31  
ББК 84(4Гем)-44

## **Ремарк Э.**

На Западном фронте без перемен / Э. Ремарк — «Издательство АСТ», 1929 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-108431-8

Говоря о Первой мировой войне, всегда вспоминают одно произведение Эриха Марии Ремарка. «На Западном фронте без перемен». Это рассказ о немецких мальчишках, которые под действием патриотической пропаганды идут на войну, не зная о том, что впереди их ждет не слава героев, а инвалидность и смерть... Каждый день войны уносит жизни чьих-то отцов, сыновей, а газеты тем временем бесстрастно сообщают: «На Западном фронте без перемен»... Эта книга — не обвинение, не исповедь. Это попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если сумел спастись от снарядов и укрыться от пули.

УДК 821.112.2-31

ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-108431-8

© Ремарк Э., 1929  
© Издательство АСТ, 1929

## Содержание

I	6
II	13
III	19
IV	25
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Эрих Мария Ремарк

## На Западном фронте без перемен

*Эта книга не обвинение и не исповедь. Просто попытка рассказать  
о поколении, загубленном войной, хотя оно и избежало ее снарядов.*

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1929

© Перевод. Н. Федорова, 2014

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

\* \* \*



## I

Мы стоим в девяти километрах от фронта. Вчера нас сменили, и теперь, набив желудок белыми бобами с говядиной, все сыты и довольны. Каждый сумел даже запастись на вечер полным котелком и вдобавок получить двойной паек колбасы и хлеба, а это уже кое-что. Давненько такого не бывало: красномордый кашевар предлагает жратву; каждого, кто проходит мимо, подзывает взмахом черпака и накладывает щедрую порцию. Он в полном отчаянии, потому что знать не знает, как бы опорожнить походную кухню. Тьяден и Мюллер раздобыли несколько умывальных тазиков, и он наполнил их вровень с краями, про запас. Тьяден постукает так от ненасытности, Мюллер – из осторожности. Куда у Тьядена все это девается, для всех загадка. Он был и остается тощим как селедка.

Но самое главное – двойной паек курева. По десять сигар, два десятка сигарет и две пачки жевательного табаку на каждого, очень даже прилично. Свой жевательный табак я выменял у Качинского на сигареты, стало быть, теперь у меня их четыре десятка. Пока что хватит.

Вообще-то подобная роскошь нашему брату не положена. У армии не настолько широкая натура. Нам повезло по ошибке.

Две недели назад мы выдвинулись на передовую, пришел наш черед. На нашем участке было довольно спокойно, и ко дню нашего возвращения каптенармус получил обычное количество продовольствия, в расчете на роту численностью полторы сотни человек. Однако в самый последний день мы угодили под неожиданно мощный обстрел длинноствольных и крупнокалиберных орудий, английская артиллерия беспрерывно лупила по нашим позициям, так что в итоге потери оказались очень велики и вернулось нас всего восемьдесят человек.

В расположение мы прибыли ночью и сразу повалились на койки, чтобы первым делом как следует выспаться; ведь Качинский прав: все бы ничего, и войну стерпеть можно, кабы только побольше спать. На передовой не поспишь, а четырнадцать дней всякий раз долгий срок.

Уже настал полдень, когда первые из нас выползли из барakov. Через полчаса, подхватив котелки, все собрались у походной кухни, от которой шел густой сытный запах. Впереди, конечно, самые голодные: малыш Альберт Кропп, самый ясный ум среди нас и оттого только ефрейтор; Мюллер-пятый, который таскает с собой школьные учебники, мечтает о досрочных экзаменах и под ураганным огнем зубрит физические законы; Леер, который отпустил окладистую бороду и обожает девиц из офицерских борделей, он клянется, что армейским приказом их обязали носить шелковые сорочки и мыться перед приемом гостей от капитана и выше; четвертый – я, Пауль Боймер. Всем четверым по девятнадцать лет, все четверо пошли на войну из одного класса.

Прямо за нами наши друзья. Тьяден, тощий слесарь, наш ровесник, величайший обжора во всей роте. Садится есть стройный, а встает пузатый, как беременный клоп; Хайе Вестхус, того же возраста, рабочий-торфяник, который спокойно может взять в руку буханку хлеба и спросить: Отгадайте-ка, что у меня в кулаке! Детеринг, крестьянин, думающий лишь о своем хозяйстве да о жене, и, наконец, Станислаус Качинский, старший в нашем отделении, упорный, хитрый, пройдошливый, сорока лет от роду, с землистым лицом, голубыми глазами, сутулыми плечами и поразительным чутьем к опасности, хорошей жратве и теплым местечкам.

Наше отделение возглавляло очередь к походной кухне. И мы начали терять терпение, ведь ничего не подозревающий кашевар по-прежнему выжидал. В конце концов Качинский крикнул ему:

– Открывай харчевню, Генрих! Бобы-то давно готовы.

Тот лениво покачал головой:

– Сперва здесь должны быть все до единого.

– Мы все здесь, – ухмыльнулся Тьяден.  
Унтер-офицер еще не понял:  
– Как бы не так! Где остальные?  
– Этих нынче кормишь не ты! Полевой лазарет и братская могила.  
Кашевара это известие подкосило. Он аж пошатнулся.  
– А я-то на сто пятьдесят человек наготовил.  
Кропп ткнул его под ребра.  
– В таком разе мы наконец наедемся досыта. Давай приступай!  
Внезапно Тьядена осенило. Острое мышинное лицо форменным образом засияло, глаза хитро сузились, щеки задергались, он шагнул ближе:  
– Слышь, приятель, значит, ты и хлеба получил тоже на сто пятьдесят человек, да?  
Унтер кивнул, уныло, с отсутствующим видом. Тьяден сгреб его за грудки:  
– И колбасы тоже?  
Красномордый опять кивнул.  
Челюсти у Тьядена заходили ходуном:  
– И табаку?  
– Да. Все на полный состав.  
Тьяден с сияющим видом огляделся по сторонам:  
– Черт подери, вот повезло так повезло! Ведь это же все теперь нам! Каждый получит... погодите... действительно, двойной паек!  
Однако ж красномордый очухался и объявил:  
– Так не пойдет.  
Но тут и мы все оживились, подступили ближе.  
– Почему не пойдет, порей несчастный? – спросил Качинский.  
– То, что рассчитано на сто пятьдесят человек, на восемьдесят не пойдет.  
– Ну, это мы тебе продемонстрируем! – рявкнул Мюллер.  
– Еду я раздам, только ровно восемьдесят порций, как положено, – уперся кашевар.  
Качинский разозлился:  
– Пожалуй, пора бы тебя заменить, а? Продовольствие ты получил не на восемьдесят человек, а на вторую роту, и точка. И раздашь его! Вторая рота – это мы.  
Мы приперли кашевара к стенке. Все его недолюбливали, по его вине питание несколько раз доставляли нам в окопы с большим опозданием, совсем холодное, потому что при малейшем обстреле он со своей кухней боялся подъехать поближе и наши подносчики поневоле проделывали куда более долгий путь, чем подносчики из других рот. Бульке из первой роты намного лучше. Хоть и толстый, как хомяк зимой, он в случае чего сам тащил фляги до переднего края.  
Мы здорово распалились, и не миновать бы потасовки, если бы не подошел наш ротный. Он поинтересовался, о чем свара, и сперва только сказал:  
– Н-да, потери вчера были большие... – Потом заглянул в котел. – Недурственные бобы как будто.  
Красномордый кивнул:  
– С салом и мясом.  
Лейтенант посмотрел на нас. Знал, о чем мы думаем. Он вообще много чего знал, ведь возмужал среди нас, а пришел в роту унтер-офицером. Он еще раз приподнял крышку котла, понюхал и, уходя, сказал:  
– Принесите и мне тарелочку. И раздать всё. Нам не повредит.  
Красномордый стоял как дурак. Тьяден приплясывал вокруг него.  
– Нечего жмотничать! Можно подумать, он тут главный интендант. Приступай, жирнюга, да смотри не обсчитайся...

– Чтоб ты подавился! – прошипел кашевар. Он растерял свой гонор, подобное не укладывалось у него в голове, весь мир перевернулся. И словно желая показать, что теперь ему все без разницы, добровольно выдал нам еще и по полфунта искусственного меда.

День нынче вправду хороший. Даже почта пришла, почти у каждого несколько писем и газеты. Мы не спеша идем на лужайку за бараками. Кропп тащит под мышкой круглую крышку от бочонка с маргарином.

Справа на краю лужайки сооружен большой нужник, солидная крытая постройка. Но она для новобранцев, которые еще не научились извлекать удовольствие из чего угодно. Мы выискиваем кое-что получше. Для той же цели повсюду расставлены еще и кабинки на одного. Прямоугольные, чистые, целиком из дерева, закрытые со всех сторон, с безукоризненно удобным сиденьем. По бокам приделаны ручки, так что кабинки можно переносить.

Мы сдвигаем в кружок три штуки и располагаемся поуютнее. Ближайшие два часа с места не поднимемся.

Помню, как в казарме мы, новобранцы, поначалу стеснялись ходить в общий нужник. Дверей там нет, двадцать человек сидят рядом, как в поезде. Всех можно окинуть одним взглядом, ведь солдат должен постоянно быть под надзором.

С тех пор мы научились многому, не только превозмогать пустяковый стыд. Со временем натерели и кое в чем другом.

Но это вот здесь прямо-таки наслаждение. Уж и не знаю, почему раньше мы всегда непроизвольно стеснялись подобных вещей, ведь они не менее естественны, чем еда и питье. Пожалуй, и не стоило бы о них особо распространяться, если бы они не играли для нас столь существенной роли и именно нам были в новинку – остальные давным-давно считали их обычным делом.

Собственный желудок и пищеварение знакомы солдату ближе, чем любому другому человеку. Он лишен трех четвертей своего словарного запаса, и выражения высочайшей радости и глубочайшего возмущения получают у него ядреную окраску. Иным способом высказаться четко и ясно невозможно. Наши семьи и наши учителя здорово удивятся, когда мы придем домой, но здешний универсальный язык именно таков.

По причине своей принудительной публичности все эти процессы вновь обрели для нас невинный характер. Более того, они настолько естественны, что удобное их отправление ценится наравне, ну, скажем, с красиво разыгранным уверенным большим шлемом без четверок. Недаром для всякой болтовни придумали название «сортирный треп»; в армии только в таких местах и можно потрепаться да посплетничать, как в кафе или в пивнушке за столом завсегдатаев.

Сейчас мы чувствуем себя вольготней, чем в каком-нибудь роскошном белокафельном заведении. Там лишь гигиенично, а у нас здесь – красиво.

Чудесно бездумные часы. Над нами – голубое небо. У горизонта висят ярко освещенные желтые привязные аэростаты и белые облачка зенитных выстрелов. Порой они снопом устремляются ввысь, преследуя самолет.

Глухой рокот фронта долетает до нас как очень далекая гроза. Шмели, гудящие поблизости, заглушают канонаду.

А вокруг раскинулся цветущий луг. Покачиваются нежные травинки, порхают бабочки-капустницы, парят на теплом мягком ветерке бабьего лета, мы читаем письма и газеты, курим, снимаем шапки, кладем их рядом, ветер раздувает волосы, играет словами и мыслями.

Три кабинки среди ярко-красных маков...

Мы устраиваем на коленях крышку от бочонка с маргарином. На ней хорошо играть в скат. Кропп захватил с собой карты. После каждого открытого мизера – распасовка. Так бы и сидел тут целую вечность.



От барачных доносятся звуки гармоник. Временами мы откладываем карты, смотрим друг на друга. Тогда кто-нибудь говорит: «Ребята, ребята...» или «Могло бы и плохо кончиться...», и на миг мы погружаемся в молчание. Нас охватывает сильное затаенное чувство, его испытывает каждый, и оно не нуждается в избытке слов. Ведь мы были на волосок от гибели, еще бы чуть-чуть – и не сидели бы сегодня здесь, на этих стульчаках. Потому-то сегодня все так ново и ярко – красные маки и хорошая еда, сигареты и летний ветер.

– Кто-нибудь из вас успел повидать Кеммериха? – спрашивает Кропп.

– Он лежит в Святом Иосифе, – говорю я.

Мюллер считает, что у Кеммериха сквозное ранение в бедро, а это неплохой шанс вернуться домой.

Мы решаем после обеда провести его.

Кропп достает письмо:

– Вам привет от Канторека.

Мы смеемся. Мюллер бросает сигарету, говорит:

– Хотелось бы мне, чтоб он был здесь.

Канторек был у нас классным наставником, строгий, маленький, в сером сюртуке, с острым мышинным лицом. По комплекции примерно как унтер-офицер Химмельштос, «ужас Клостерберга». Кстати говоря, забавно, что мировые беды зачастую случаются из-за малорослых людей, они намного энергичнее и неуживчивее, чем высокие. Я всегда остерегался попадать под начало маленьких ротных, обычно они жуткие живодеры.

На уроках гимнастики Канторек до тех пор произносил перед нами речи, пока весь класс под его водительством в полном составе не отправился в окружное военное управление и не записался добровольцами. По сей день воочию вижу, как он, сверкая глазами сквозь очки, взволнованно вопрошал: «Вы тоже с нами, товарищи?»

У этих наставников волнение обычно наготове, что называется, в жилетном кармане, да и раздают они его поурочно. Правда, тогда мы об этом еще не задумывались.

Один из нас, впрочем, сомневался и не слишком горел желанием идти добровольцем. Йозеф Бем, толстый добродушный парень. Но в конце концов поддался на уговоры, ведь иначе бы навлек на себя позор. Вероятно, и еще кое-кто думал так же, как он, однако по-хорошему не выкрутишься, в то время даже у родителей слово «трус» с языка не сходило. Никто же понятия не имел, что началось. Проницательнее всех, по сути, оказались люди бедные и простые, они изначально восприняли войну как бедствие, а вот более обеспеченные себя не помнили от радости, хотя они-то могли бы скорее уяснить себе последствия.

Качинский утверждает, что виновато образование, от него-де глупеют. А Кач говорит только то, что хорошо обдумал.

Станным образом Бем погиб одним из первых. При штурмовой атаке получил пулю в глаза, и мы оставили его, решив, что он убит. Забрать его с собой мы не сумели, так как отступали в спешке. Но под вечер вдруг услышали его крики и увидели, как он там ползает. После ранения он просто потерял сознание. А теперь, поскольку ничего не видел и обезумел от боли, не использовал укрытия, и с той стороны его расстреляли еще прежде, чем нам удалось его вытащить.

Канторек тут, конечно, ни при чем, – что станет с миром, если уже это называть виной? Таких Канторек-ов тысячи, и все они твердо убеждены, что на свой лад усердно делают все возможное.

Но для нас в этом-то и заключается их несостоятельность.

Нам, восемнадцатилетним, они бы должны были стать посредниками, проводниками во взрослый мир, мир труда, долга, культуры и прогресса, в будущее. Порой мы их высмеивали, устраивали мелкие проказы, но, в сущности, верили им. С идеей авторитета, носителями кото-

рой они были, связывались в нашем представлении глубокая проницательность и гуманные взгляды. Но первый же увиденный нами убитый разрушил эту веру. Мы не могли не признать, что наше поколение честнее их; они превосходили нас только фразерством и ловкостью. Первый же ураганный обстрел продемонстрировал нам нашу ошибку, в клочья разнес мировоззрение, какому нас учили они.

Они еще писали и произносили речи, а мы видели лазареты и умирающих; они называли служение государству самым главным, а мы уже знали, что смертельный страх сильнее. Однако страх не сделал нас ни бунтарями, ни дезертирами, ни трусами – они-то с легкостью сыпали этими выражениями, – мы любили родину, как и они, и всегда храбро шли в атаку; но теперь мы прозрели, вмиг научились видеть. И увидели, что от их мира не осталось ничего. Внезапно мы оказались в страшном одиночестве – и должны были справляться с ним в одиночку.

Перед тем как отправиться к Кеммериху, мы собираем его вещи, в дороге они ему пригодятся.

В полевом лазарете царит суматоха; как всегда, пахнет карболкой и потом. В казармах ко многому привыкаешь, но здесь все равно любого в два счета замутит. Мы выспрашиваем, как найти Кеммериха; он лежит в зале, и при виде нас на его лице слабо проступает выражение радости и беспомощного волнения. Пока он был без памяти, у него украли часы.

Мюллер качает головой:

– Я же говорил, незачем брать с собой такие хорошие часы.

Мюллер несколько неотесан и категоричен. Иначе бы промолчал, ведь каждому видно, что из этого зала Кеммерих уже не выйдет. Отыщутся ли его часы, значения не имеет, разве что можно будет отослать их домой.

– Как дела, Франц? – спрашивает Кропп.

Кеммерих опускает голову.

– Да ничего... только вот нога чертовски болит.

Мы смотрим на одеяло. Его нога накрыта проволочной корзиной, одеяло лежит на ней горой. Я пинаю Мюллера по щиколотке, ведь с него станется сказать Кеммериху то, что мы успели узнать в коридоре от санитаров: у Кеммериха больше нет ноги. Ее ампутировали.

Выглядит он ужасно, желтый, землисто-бледный, в лице уже проступили чужие черты, прекрасно нам знакомые, потому что мы видели их сотни раз. Собственно, это не черты, скорее знаки. Под кожей более не пульсирует жизнь, ее вытеснило на грань тела, изнутри пробивается смерть, глаза уже в ее власти. Вот лежит наш товарищ Кеммерих, который совсем недавно жарил с нами конину и сидел в секрете, он пока тот же и все-таки не тот, его образ расплылся, потерял четкость, как фотопластинка, на которую сняли два кадра. Даже голос его звучит словно пепел.

Мне вспоминается наш тогдашний отъезд. Мать Кеммериха, добродушная толстуха, провожала сына на вокзал. Она все время плакала, от слез лицо отекло и опухло. Кеммерих стеснялся ее, ведь все, кроме нее, хоть как-то сдерживались, а она совершенно раскисла. При том выбрала меня, поминутно хватала за плечо и умоляла присмотреть за Францем. Кстати, лицо у него было совершенно детское, а кости до того мягкие, что, проходив месяц с ранцем за спиной, он уже заработал плоскостопие. Но как присмотришь за кем-либо на войне!

– Теперь домой поедешь, – говорит Кропп, – а отпуска пришлось бы дожидаться еще месяца три-четыре.

Кеммерих кивает. Сил нет смотреть на его руки, они будто восковые. Под ногтями окопная грязь, иссиня-черная, как отравы. У меня вдруг мелькает мысль, что эти ногти, как злоеющие подземные растения, будут расти еще долго после того, как Кеммерих перестанет дышать. Так и вижу перед собой картину: ногти закручиваются штопором, растут и растут, а с ними

растут волосы на распадающемся черепе, словно трава на доброй почве, точь-в-точь словно трава, как же такое возможно?..

Мюллер наклоняется:

– Мы принесли твои вещи, Франц.

Кеммерих жестом показывает:

– Положите под койку.

Мюллер так и делает. Кеммерих опять заводит про часы. Как бы его успокоить, не вызывая подозрений?!

Мюллер выныривает из-под койки, с парой летчиских сапог. Превосходные английские сапоги из мягкой желтой кожи, высокие, до самых колен на шнуровке, завидная вещь. Мюллер смотрит на них с восторгом, прикидывает их подметки к своей неуклюжей обуви, спрашивает:

– Сапоги-то с собой повезешь, а, Франц?

Все трое мы думаем об одном: даже если бы выздоровел, Кеммерих мог бы использовать лишь один сапог, так что для него они ценности не имеют. А уж в нынешних обстоятельствах тем более жалко оставлять их здесь, санитары, конечно же, мигом их умыкнут, как только он умрет.

Мюллер продолжает:

– Тут не хочешь оставить?

Кеммерих не хочет. Это самое ценное его имущество.

– Мы можем их выменять, – снова предлагает Мюллер, – здесь, на фронте, они всякому сгодятся.

Но Кеммерих непреклонен.

Я наступаю Мюллеру на ногу, и он нехотя сует роскошные сапоги на место, под койку.

Поговорив еще немного о том о сем, мы прощаемся:

– Будь здоров, Франц.

Я обещаю прийти завтра, Мюллер тоже, он думает о сапогах и потому намерен быть начеку.

Кеммерих стонет. У него жар. За дверью мы перехватываем санитаря, уговариваем сделать Кеммериху укол.

Он отказывается:

– Вздумай мы колоть морфий всем и каждому, целые бочки его понадобятся.

– Ты небось только офицерам услуживаешь, – с неприязнью бросает Кропп.

Я вмешиваюсь и перво-наперво угощаю санитаря сигаретой. Он берет. Потом спрашиваю:

– А тебе вообще разрешено делать уколы?

Он обижается:

– Раз не верите, то чего спрашиваете...

Я сую ему в ладонь еще несколько сигарет.

– Сделай нам одолжение...

– Ну ладно, – говорит он. Кропп идет за ним в зал, не доверяет, хочет сам убедиться.

Мы ждем снаружи.

Мюллер опять начинает про сапоги:

– Мне бы они в самый раз подошли. В этих-то корытах все ноги стер. Как думаешь, продержится он до завтрашнего вечера? Если помрет ночью, сапог нам не видать...

Возвращается Альберт, спрашивает:

– Как считаете?..

– Какую, – подытоживает Мюллер.

Мы идем обратно в бараки. Я думаю о письме, которое мне придется завтра писать матери Кеммериха. Меня знобит, шнапсу бы сейчас глоточек. Мюллер срывает травинки, жует. Коро-

тышка Кропп вдруг отшвыривает сигарету, яростно затаптывает ее, с подавленно-растерянным видом озирается по сторонам, бормочет:

– Окаянное дерьмо, окаянное дерьмо...

Мы идем дальше, долго идем. Кропп успокоился, мы знаем, это фронтовое бешенство, с каждым бывает. Мюллер спрашивает его:

– Что, собственно, написал тебе Канторек?

Он смеется:

– Мы-де железная молодежь.

Мы злобно смеемся, все трое. Кропп чертыхается, радуясь, что может говорить.

Да, вот так они думают, сотни тысяч канторексов! Железная молодежь. Молодежь! Нам всем не больше двадцати. Но молоды ли мы? Молодость? Она давно прошла. Мы старики.

## II

Странно подумать, что дома, в ящике письменного стола, лежат начатая драма «Саул» и кипа стихов. Не один вечер я сидел над ними, да и почти все мы занимались подобными вещами, но теперь они стали для меня настолько нереальными, что я даже представить их себе толком не могу.

С той поры как мы здесь, прежняя наша жизнь отрезана, причем без нашего участия. Иной раз мы пытаемся сориентироваться и найти этому объяснение, однако, по сути, безуспешно. Именно нам, двадцатилетним, все особенно неясно, Кроппу, Мюллеру, Лееру, мне – нам, кого Канторек называет железной молодежью. Люди постарше крепко связаны с прежним, у них есть основа, есть жены, дети, профессии и интересы, уже настолько сильные, что война не в состоянии их разорвать. У нас же, двадцатилетних, есть только родители, а кое у кого – девушка. Это немного – ведь в наши годы сила родителей совсем слаба, а девушки еще не приобрели первостепенного значения. Помимо этого, у нас разве что было немножко мечтательности, кой-какие увлечения да школа; дальше наша жизнь пока не простиралась. И от этого не осталось ничего.

Канторек сказал бы, что мы стояли на самом пороге бытия. Примерно так оно и есть. Мы не успели пустить корни. Война смыла нас, унесла. Для других, старших, она перерыв, остановка, они могут думать о том, что будет после. А вот мы целиком в ее власти и не знаем, как все это кончится. Успели только осознать, что каким-то странным и тоскливым образом огрубели, хотя даже и грустим теперь нечасто.

Пусть Мюллеру охота заполучить сапоги Кеммериха, но от этого в нем не меньше участия, нежели в таком, кто от боли и думать о них не смеет. Просто он умеет различать. Будь Кеммериху хоть какая-то польза от этих сапог, Мюллер бы скорее уж побежал босиком по колючей проволоке, а не ломал себе голову, как бы ими завладеть. В нынешних же обстоятельствах сапоги не имеют к состоянию Кеммериха ни малейшего касательства, а вот Мюллеру вполне могут пригодиться. Кеммерих умрет, кому бы ни достались сапоги. Так почему бы Мюллеру не постараться, у него ведь на них больше прав, чем у какого-нибудь санитаря! Когда Кеммерих умрет, будет поздно. Оттого-то Мюллер и суетится уже сейчас.

Мы утратили ощущение иных взаимосвязей, поскольку они искусственны. Для нас важны и справедливы только факты. А хорошие сапоги – редкость.

\* \* \*

Раньше и с этим обстоило по-другому. Направляясь в окружное военное управление, мы еще были школьным классом из двух десятков молодых людей, которые, прежде чем ступить на армейский плац, все вместе (кое-кто впервые) радостно наведались к брадобрею. Твердых планов на будущее мы не имели, мысли о карьере и профессии, по сути, лишь у считанных единиц сложились настолько, что могли означать некий жизненный порядок; зато нас переполняли туманные идеи, придававшие в наших глазах жизни – да и войне тоже – идеализированный и чуть ли не романтический характер.

Два с половиной месяца мы проходили военную подготовку, и это время изменило нас куда радикальнее, чем десять школьных лет. Мы усвоили, что надраенная пуговица важнее четырех томов Шопенгауэра. Сперва с удивлением, потом с досадой, а в конце концов с безразличием признали, что решающую роль играет вроде бы не дух, а сапожная щетка, не мысль, а система, не свобода, а муштра. Солдатами мы стали с восторгом и по доброй воле, однако

армия делала все, чтобы их истребить. Через три недели мы уже не изумлялись, что разукрашенный галунами письмоносец имел над нами больше власти, чем родители, педагоги и все культурные круги от Платона до Гёте, вместе взятые. Наши молодые, бодрые глаза увидели, что классическое понятие отечества, о котором твердили наши учителя, реализовалось здесь покуда как отказ от личности, какого даже от ничтожнейшего посыльного никогда бы не потребовали. Отдание чести, стойка «смирно», церемониальный шаг, ружейные артикулы, направо, налево, щелканье каблуками, брань и тысячи издевательств – мы представляли себе свою задачу иначе и считали, что нас готовят к героизму как цирковых лошадей. Но скоро привыкли. Даже уразумели, что одна часть этих вещей необходима, другая же совершенно не нужна. У солдата на это тонкий нюх.

По трое, по четверо наш класс разбросали по отделениям вместе с фризскими рыбаками, крестьянами, рабочими и ремесленниками, с которыми мы быстро подружились. Кропп, Мюллер, Кеммерих и я попали в девятое отделение, под начало унтер-офицера Химмельштоса.

Он слыл в казармах самым страшным живодером и тем гордился. Маленький, коренастый, в строю уже двенадцать лет, с рыжими закрученными усами, по гражданской профессии – письмоносец. Кроппа, Тьядена, Вестхуса и меня он особенно допекал, чувствуя наше молчаливое упорство.

Однажды утром я четырнадцать раз заправлял его койку. Он все время находил к чему придраться и срывал постель. За двадцать часов работы – конечно, с перерывами – я довел пару закаменевших допотопных сапог до такой мягкости, что Химмельштос и тот не нашел к чему прицепиться; по его приказу я зубной щеткой дочиста отдраил полы в отделении; вооружившись платяной щеткой и совком для мусора, мы с Кроппом выметали снег с плаца и, наверно, так бы и заоченели в конце концов, если б не случайное появление лейтенанта, который отослал нас в казарму и устроил Химмельштосу разнос. К сожалению, в результате Химмельштос еще сильнее на нас обозлился. Четыре недели кряду я каждое воскресенье стоял в карауле и еще четыре недели дневалил в казарме; на мокрой, раскисшей пашне я с полной выкладкой и винтовкой отрабатывал «Встать, марш-марш!» и «Ложись!», пока не рухнул комком грязи, а четыре часа спустя предъявил Химмельштосу безупречно вычищенное снаряжение, правда до крови стертыми руками; вместе с Кроппом, Вестхусом и Тьяденом упражнялся в стойке «смирно», без перчаток, на сильном морозе, сжимая голыми пальцами железный ствол винтовки, а Химмельштос расхаживал вокруг, караулил малейшее движение, чтобы констатировать дисциплинарный проступок; в два часа ночи я восемь раз бегом спускался в рубаше с верхнего этажа казармы во двор, потому что мои подштанники на несколько сантиметров выступали за край скамейки, где каждый стопкой складывал свои вещи. Рядом со мной, наступая мне на ноги, бежал дежурный унтер-офицер – Химмельштос. Во время учебных штыковых боев моим противником неизменно оказывался Химмельштос, причем у меня в руках была тяжелая железка, а у него – сподручное деревянное ружье, так что он с легкостью превращал мои руки в сплошной синяк; впрочем, однажды я до того рассвирепел, что кинулся на него очертя голову и так саданул под дых, что он не устоял на ногах, упал. Когда же он вздумал жаловаться, ротный поднял его на смех и сказал, что ему не мешает быть повнимательнее; зная Химмельштоса, он, видимо, радовался его промашке. Я научился артистически влезать на тумбочки, мало-помалу достиг мастерства в приседаниях; мы дрожали, едва заслышав голос Химмельштоса, но сломить нас этот озверелый почтарь не сумел. Однажды в воскресенье, когда мы с Кроппом на жердине волокли через казарменный двор сортирные параша, нам встретился Химмельштос, расфуфыренный на выход, он мимоходом остановил нас и спросил, как нам нравится эта работенка, и тут мы наперекор всему сделали вид, будто споткнулись, и плеснули из параша ему на ноги. Он прямо осатанел, но параша-то была переполнена, как и чаша нашего терпения.



– В крепость захотели?! – завопил он.

Кропп не выдержал:

– Только сначала расследование, а тогда мы все выложим.

– Как вы разговариваете с унтер-офицером! – взревел Химмельштос. – С ума сошли? Ждите, пока вас спросят! Что вы сделаете?

– Выложим все насчет господина унтер-офицера! – отчеканил Кропп, вытянувшись в струнку.

Химмельштос наконец сообразил, что происходит, и, ни слова не говоря, убрался. Хотя, прежде чем исчезнуть, еще проквашал:

– Я вам это припомню!

Однако его владычеству пришел конец. Он было опять попробовал на пашнях «Ложись!» и «Встать, марш, марш!». И мы, конечно, исполняли каждую команду, ведь приказ есть приказ, его надлежит исполнять. Но исполняли мы его так медленно, что Химмельштос пришел в отчаяние. Мы не спеша опускались на колени, потом на локти и так далее; он же тем временем в ярости отдавал следующую команду. Мы и вспотеть не успели, а он совершенно охрип.

Тогда он оставил нас в покое. Называл не иначе как сволочами. Но с уважением.

Много было и порядочных унтеров, более разумных; порядочные даже составляли большинство. Однако в первую очередь каждому хотелось как можно дольше сохранять за собой теплое местечко на родине, а для этого приходилось обращаться с новобранцами весьма сурово.

Нам на долю выпала, пожалуй, вся казарменная муштра, какая только возможна, и часто мы ревели от ярости. Некоторые из-за этого хворали. Вольф даже умер от воспаления легких. Но мы сочли бы себя посмешищем, если б смирились. Стали жесткими, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми – и хорошо, ведь как раз такими качествами мы не обладали. Если бы нас отправили в окопы без этой выучки, большинство бы, наверно, свихнулось. А так мы были готовы к тому, что нас ожидало.

Мы не сломались, мы приспособились; наши двадцать лет, в другом очень осложнявшие нам жизнь, тут здорово помогли. А самое главное, в нас проснулось прочное, практическое чувство единения, которое на фронте переросло в лучшее, что породила война, – в товарищество!

\* \* \*

Я сижу у койки Кеммериха. Ему все хуже. Вокруг царит шумная суматоха. Прибыл санитарный эшелон, и сейчас отбирают транспортабельных раненых. Возле Кеммериха врач не задерживается, даже не смотрит на него.

– В следующий раз, Франц, – говорю я.

Он на локтях приподнимается в подушках.

– Мне отрезали ногу.

Стало быть, теперь он все же знает. Я киваю, говорю:

– Радуйся, что так отделался.

Кеммерих молчит.

Я продолжаю:

– Ведь могли бы и обе ноги ампутировать, Франц. Вегелер потерял правую руку. Это куда хуже. Вдобавок ты вернешься домой.

Он смотрит на меня.

– Ты так думаешь?

– Конечно.

– Ты так думаешь? – повторяет он.

– Наверняка, Франц. Просто сперва тебе надо восстановить силы после операции. Он делает мне знак наклониться поближе. Я наклоняюсь, и он шепчет:

– Я в это не верю.

– Не городи чепухи, Франц, через день-другой сам увидишь. Большое дело – ампутированная нога; здесь и с чем похуже справляются.

Он приподнимает руку.

– Посмотри, посмотри на мои пальцы.

– Это из-за операции. Лопай как следует, и все наладится. Кормят-то вас прилично?

Он кивает на миску с едой: съел разве что половину.

– Франц, тебе надо есть, – озабоченно говорю я. – Еда – это главное. Она тут вполне приличная.

Кеммерих машет рукой. Помолчав, медленно произносит:

– Я хотел стать главным лесничим.

– Ты и сейчас можешь им стать, – утешаю я. – Существуют превосходные протезы, ты и не заметишь, что у тебя чего-то недостает. Их подсоединяют к мышцам. У ручных протезов можно шевелить пальцами и работать, даже писать. К тому же постоянно изобретают что-нибудь новенькое.

Некоторое время он лежит молча. Потом говорит:

– Можешь взять мои сапоги, отдай Мюллеру.

Я киваю, размышляя, как бы его подбодрить. Губы у него как бы стерлись, рот стал больше, зубы выдаются вперед, как куски мела. Плоть тает, лоб выпячивается, скулы выпирают. Скелет проступает наружу. Глаза уже западают. Через несколько часов наступит конец.

Кеммерих не первый, кого я вижу таким, но мы вместе росли, и от этого все иначе. Я списывал у него сочинения. В школе он большей частью носил коричневый костюм с хлястиком, залоснившийся на рукавах. Единственный в классе он умел крутить солнце на перекладине. При этом волосы шелковой волной падали на лицо. Канторек им гордился. А вот сигареты Кеммерих не выносил. Очень белокожий, он чем-то походил на девушку.

Я гляжу на свои сапоги. Большие, неуклюжие, брюки заправлены в голенища; когда встанешь, выглядишь в этих широких штанах крепким и сильным. Но когда мы идем купаться и раздеваемся, вдруг снова обнаруживаются тонкие икры и узкие плечи. Мы тогда не солдаты, а почти мальчишки, никто бы не поверил, что мы способны таскать солдатские ранцы. Станный миг, когда мы раздеты; мы тогда штатские и едва ли не чувствуем себя таковыми.

Когда мы купались, Франц Кеммерих выглядел маленьким и хрупким, как ребенок. И вот он лежит здесь, почему? Стоило бы провести мимо его койки весь мир и сказать: это Франц Кеммерих, девятнадцати с половиной лет от роду, он не хочет умирать. Не дайте ему умереть!

Мысли у меня путаются. Пропитанный карболкой, гангренозный воздух забивает легкие мокротой, душит, как густая жижа.

Смеркается. Лицо Кеммериха блекнет, бледнеет настолько, что выделяется на подушках светящимся белым пятном. Рот тихонько шевелится. Я наклоняюсь. Он шепчет:

– Если найдете мои часы, отошлите их домой.

Я не перечу. Нет смысла. Убедить его невозможно. От беспомощности мне совсем паршиво. Этот лоб со впалыми висками, этот рот, уже и не рот, только челюсти, этот заострившийся нос! А дома – толстая плачущая женщина, которой я должен написать. Хоть бы скорее покончить с этим письмом.

Лазаретные санитары снуют вокруг с бутылками и ведрами. Один подходит, бросает испытующий взгляд на Кеммериха и опять уходит. Явно ждет, вероятно, ему нужна койка.

Я придвигаюсь поближе к Францу и, словно это его спасет, говорю:

– Может, тебя отправят в санаторий возле Клостерберга, Франц, где виллы. Будешь смотреть в окно на поля, до двух деревьев у горизонта. Сейчас самая замечательная пора, пшеница

созревает, и вечером поля отливают на солнце перламутром. А тополевая аллея у Монастырского ручья, где мы ловили колюшку! Ты можешь снова завести аквариум и разводить рыбок, сможешь гулять, ни у кого не спрашиваясь, даже на фортепиано играть, если захочешь.

Я склоняюсь над его лицом, оно сейчас в тени. Он еще дышит, тихо-тихо. Лицо мокрое, он плачет. Ох и натворил я дел своей дурацкой болтовней!

– Франц! – Я беру его за плечи, прижимаюсь к его лицу. – Хочешь вздремнуть?

Он не отвечает. Слезы текут по щекам. Мне хочется их утереть, только вот платок у меня слишком грязный.

Проходит час. Я сижу в напряжении, слежу за выражением его лица – вдруг еще что-нибудь скажет. Хоть бы открыл рот и закричал! Но он только плачет, повернув голову набок. Не говорит ни о матери, ни о братьях и сестрах, не говорит ни слова, наверно, уже оставил все это позади, – сейчас он наедине со своей короткой девятнадцатилетней жизнью и плачет, оттого что она его покидает.

Более растерянного и тяжелого прощания мне никогда видеть не доводилось, хотя и Тидьен тоже уходил мучительно – медвежьей силищи парень во всю глотку звал маму и, испуганно вытаращив глаза и размахивая штыком, не подпускал врача к своей койке, пока не обессилел и не затих.

Внезапно Кеммерих стонет, начинает хрипеть.

Я вскакиваю, спотыкаясь, выбегаю в коридор, спрашиваю:

– Где врач? Где врач?

Увидев белый халат, я вцепляюсь в него.

– Идемте скорее, иначе Франц Кеммерих умрет.

Он высвобождается, спрашивает стоящего поблизости санитаря:

– Что это значит?

– Койка двадцать шесть, ампутация бедра, – докладывает тот.

– Откуда мне знать, я сегодня пять ампутиаций провел! – рывкает врач, отстраняет меня, говорит санитару: – Идите проверьте, – и спешит в операционную.

Дрожа от ярости, я иду с санитаром обратно. Он смотрит на меня:

– Одна операция за другой, с пяти утра... это уж чересчур, скажу я тебе, только сегодня опять шестнадцать смертей... твой семнадцатый. Наверняка до двух десятков дойдет...

Мне становится дурно, я вдруг больше не могу. Даже ругаться неохота, нет смысла, хочется рухнуть и никогда больше не встать.

Мы у койки Кеммериха. Он мертв. Лицо еще мокрое от слез. Глаза полуоткрыты, желтые, как старые роговые пуговицы...

Санитар толкает меня в бок.

– Вещи его заберешь?

Я киваю, а он продолжает:

– Нам надо сразу его вынести, койка нужна. Они уже в коридоре лежат.

Я забираю вещи, отстегиваю личный знак Кеммериха. Санитар спрашивает солдатскую книжку. Книжки нет. Я говорю, что она, наверно, в канцелярии, и ухожу. За моей спиной они уже перетаскивают Франца на брезент.

За дверьми темнота и ветер – словно избавление. Я дышу изо всех сил, воздух как никогда тепло и мягко обвеивает лицо. Внезапно в голове мелькают мысли о девушках, о цветущих лугах, о белых облаках. Ноги в сапогах двигаются вперед, я ускоряю шаг, бегу. Мимо идут солдаты, их разговоры будоражат меня, хоть я и не понимаю их смысла. Земля пропитана силами, которые через подошвы вливаются в меня. Ночь электрически потрескивает, фронт глухо громыкает, как барабанный концерт. Мои движения легки и гибки, я чувствую силу суставов, шумно дышу. Ночь живет, я живу. Ощущаю голод, больший, чем тот, что идет только от желудка...

Мюллер стоит у барака, ждет меня. Я отдаю ему сапоги. Мы заходим внутрь, он их примеряет. В самый раз.

Он роется в своих припасах, угощает меня изрядным куском сервелата. И горячим чаем с ромом.

### III

Прибыло пополнение. Бреши заполняются, и соломенные тюфяки в бараках скоро уже не пустуют. Отчасти это старики, но к нам направили и двадцать пять человек новобранцев из полевых учебных лагерей. Они почти на год моложе нас. Кропп толкает меня в бок.

– Видал детишек?

Я киваю. Мы напускаем на себя гордый вид, устраиваем во дворе бритвенный сеанс, суем руки в карманы, разглядываем новобранцев и чувствуем себя старыми вояками.

К нам присоединяется Качинский. Прогулочным шагом мы проходим через конюшни и добираемся до пополнения, которому как раз выдают противогазы и кофе. Кач спрашивает одного из самых молоденьких:

– Небось давненько приличной жратвы не пробовали?

Парнишка кривится:

– Утром брюквенный хлеб, в обед брюква, на ужин котлеты из брюквы и салат из брюквы.

Качинский присвистывает с видом знатока:

– Хлеб из брюквы? Вам, ребята, еще повезло, теперь-то его уже из опилок варганят. А как насчет белых бобов, хошь порцию?

Мальчишка краснеет:

– Насмехаться-то зачем?

– Тащи котелок, – коротко бросает Качинский.

Нас тоже разбирает любопытство. Он ведет нас к бочонку возле своего тюфяка. И бочонок вправду до половины полон белых бобов с говядиной. Качинский стоит рядом словно генерал и командует:

– Разуй глаза, ловчее пальцы! Таков солдатский девиз!

Мы поражены. Я спрашиваю:

– Мать честная, Кач, ты где их раздобыл?

– Краснорожий обрадовался, когда я их забрал. Взамен он получил три куска шелка от ракетных зонтиков. А что, белые бобы и холодные на вкус хоть куда.

Он накладывает мальчишке щедрую порцию и говорит:

– Когда явишься с котелком в следующий раз, держи в левой руке сигару или кусок жевательного табаку. Ясно? – Потом оборачивается к нам: – Вам, понятно, даром.

Качинский незаменим, потому что обладает шестым чувством. Такие люди есть повсюду, но заранее никто этого не знает. В каждой роте их один-двое. Но большего пройдохи, чем Качинский, я не встречал. По профессии он, по-моему, сапожник, хотя это не имеет значения, так как он разбирается в любом ремесле. Водить с ним дружбу весьма полезно. Мы, Кропп и я, с ним дружим, Хайе Вестхус более-менее тоже. Вообще-то Вестхус скорее подручный, работает под началом Кача, когда затея предполагает применение кулаков. За это ему положены свои льготы.

К примеру, ночью мы входим в совершенно незнакомый поселок, жалкую дыру, по которой с первого взгляда видно, что она вконец разорена. Расквартировываемся в маленькой темной фабричке, худо-бедно оборудованной под казарму. Там стоят койки, вернее, деревянные каркасы, затянутые провололочной сеткой.

Сетка жесткая. Одеял для подстилки у нас нет, наши нужны, чтобы укрыться. А брезент слишком тонкий.

Качинский оценивает ситуацию и говорит Хайе Вестхусу:

– Идем-ка со мной.

Оба уходят в совершенно незнакомый поселок. А полчаса спустя возвращаются с большими охапками соломы. Кач нашел конюшню и, понятно, солому. Теперь можно бы поспать в тепле, если бы не жуткий голод.

Кропп спрашивает у артиллериста, который находится здесь уже некоторое время:

– Есть тут где-нибудь столовая?

Тот смеется:

– Ишь чего захотел! Нету здесь ни хрена. Корки сухой не сыщешь!

– И местных уже не осталось?

Сплюнув, артиллерист бросает:

– Кое-кто остался. Только они сами ошиваются возле походных кухонь, кланчат пожрать.

Плохо дело. Что ж, придется потуже затянуть ремни и ждать до завтра, когда подвезут провизию.

Однако я вижу, что Кач надевает шапку, и спрашиваю:

– Ты куда, Кач?

– Пойду осмотрюсь маленько. – Он не спеша уходит.

Артиллерист иронически ухмыляется:

– Ну-ну, осмотришь. Не надорвись только.

Мы разочарованно ложимся на койки, прикидывая, не подхарчиться ли неприкосновенным запасом. Но риск слишком велик. И мы пытаемся вздремнуть.

Кропп разламывает сигарету, дает половинку мне. Тяден рассказывает про свое национальное блюдо, крупные бобы с салом. Последними словами ругает стряпню без чебреца. А главное, картошку, бобы и сало варить надо вперемешку, ни в коем разе не по отдельности. Кто-то бурчит, что сделает чебрец из Тядена, если он сию минуту не заткнется. В большом помещении воцаряется тишина. Только несколько свечек, воткнутых в бутылки, мерцают, да временами харкает артиллерист.

Мы чуток задремали, когда дверь открывается и входит Кач. Мне кажется, я вижу сон: под мышкой у него две буханки хлеба, а в руке – окровавленный мешок с кониной.

Артиллерист роняет трубку изо рта. Ощупывает хлеб.

– Впрямь настоящий хлеб, вдобавок теплый.

Кач не распространяется о том, как все это достал.

Он принес хлеб, остальное значения не имеет. Я уверен: оставь его в пустыне, и через час он организует ужин из фиников, жаркого и вина.

– Наколи дров, – коротко командует он Хайе.

Потом достает из-за пазухи сковороду, а из кармана – горсть соли и даже кусок жира; он обо всем подумал. Хайе разводит на полу костер. Треск огня разносится по голому фабричному цеху. Мы слезаем с коек.

Артиллерист в замешательстве. Прикидывает, не стоит ли похвалить, глядишь, тогда и ему что-нибудь перепадет. Но Качинский в упор его не видит, артиллерист для него – пустое место. И тот, чертыхаясь, уходит.

Кач умеет зажарить конину так, чтобы она сделалась мягкой. Ее нельзя сразу бросать на сковороду – останется жесткой. Сперва надо проварить ее в небольшом количестве воды. Вооружившись ножами, мы рассаживаемся вокруг костра, наедаемся до отвала.

Вот таков Кач. Если б где-нибудь можно было раздобыть еду раз в год и лишь в течение часа, то именно в этот час он, движимый наитием, наденет шапку, выйдет и, как по компасу, разыщет ее.

Он находит все: в холода – печурки и дрова, сено и солому, столы, стулья, а главное, съестное. Поистине загадка: так и кажется, что он, словно по волшебству, добывает все из воздуха. Коронным достижением были четыре банки омаров. Хотя мы предпочли бы топленое сало.



\* \* \*

Мы расположились на солнечной стороне барачков. Пахнет варом, летом и потными ногами.

Кач сидит рядом со мной, потому что любит поговорить. Сегодня в полдень мы целый час тренировались в отдавании чести, поскольку Тьяден небрежно приветствовал какого-то майора. У Кача эта история нейдет из головы.

– Чего доброго, проиграем войну, – замечает он, – потому как навывали очень уж ловко отдавать честь.

Кропп, точно аист, подходит ближе, босой, брюки закатаны выше колен. Кладет на траву сушить выстиранные носки. Кач смотрит в небо, шумно выпускает газы и задумчиво изрекает:

– Каждый боб газом хлоп.

Оба затевают спор. Разом заключают пари на бутылку пива – по поводу воздушного боя у нас над головами.

Кача не переубедишь, у него свое мнение, которое он, старый окопник, опять изрекает рифмами:

– Одинаково б кормили, одинаково б платили – про войну б давно забыли.

Кропп, напротив, мыслитель. Предлагает превратить объявление войны в этакий народный праздник – вход по билетам, музыка, как на боях быков. А на арене министры и генералы двух стран-противников, в плавках, вооруженные дубинками, пускай дерутся между собой. Кто уцелеет, та страна и победила. Куда проще и лучше, чем здесь, где воюют друг с другом совсем не те люди.

Идею встречают одобрением. Потом разговор переходит на казарменную муштру.

Мне при этом вспоминается одна картина. Раскаленный полдень на казарменном дворе. Воздух над плацем дрожит от зноя. Казармы словно вымерли. Всё спит. Слышно только, как упражняются барабанщики, где-то построились и упражняются, неловко, однообразно, тупо. Какое трезвучие: полуденный зной, казарменный плац и упражнения барабанщиков!

Окна в казарме пустые и темные. Из некоторых вывешены на просушку рабочие штаны. Туда все смотрят с вожделением. В помещениях прохладно.

О темные, затхлые казарменные помещения с железными койками, клетчатыми одеялами, тумбочками и скамейками! Даже вы способны стать желанными; здесь вы кажетесь прямо-таки чудесным отражением родины, вы, помещения, полные застарелых запахов еды, сна, дыма и одежды!

Качинский описывает их в ярких красках и с большим волнением. Чего бы мы не отдали, только бы вернуться туда! Ведь заглянуть дальше уже и в мыслях не смеем...

О вы, учебные занятия ранними утрами: «Из каких деталей состоит винтовка образца девяносто восьмого года?» Послеобеденная гимнастика... «Пианисты, шаг вперед. Направо! Шагом марш на кухню чистить картошку...»

Мы упиваемся воспоминаниями. Неожиданно Кропп смеется:

– Пересадка в Лёне.

Это была любимая забава нашего унтера. Лёне – пересадочная железнодорожная станция. И чтобы наши отпускники там не заплутали, Химмельшток прямо в казарме отрабатывал с нами пересадку. Нам надлежало усвоить, что на пересадку надо идти через подземный путепровод. Койки изображали путепровод, все выстраивались слева и по команде «Пересадка в Лёне!» с быстротой молнии проползали под койками на другую сторону. Так продолжалось часами...

Немецкий самолет меж тем сбили. Точно комета, он падает в туче дыма. Таким образом, Кропп проиграл бутылку пива и хмуро пересчитывает деньги.

– Как письмоносец Химмельштос наверняка скромняга, – заметил я, когда Альбертово разочарование улеглось, – почему же как унтер-офицер он сущий живодер?

Мой вопрос снова мобилизует Кроппа:

– Химмельштос не одинок, таких очень много. Едва только обзаведутся галунами или саблём – сразу становятся другими, будто бетону объелись.

– Значит, виноват мундир, – предполагаю я.

– Примерно так, – говорит Кач, явно намереваясь выступить с пространной речью, – но причина в другом. Видишь ли, когда дрессируешь собаку, чтобы она жрала картошку, а после даешь ей кусок мяса, она все равно схватит мясо, такая уж у нее природа. Вот и с человеком, коли дать ему чуток власти, происходит аккурат то же самое – он ее хватается. Получается этак совершенно нечаянно, ведь человек в первую голову животное, разве только поверху, словно в бутерброде со смальцем, намазано маленько порядочности. Армейская служба в том и состоит, что один непременно имеет власть над другим. Паршиво только, что власти этой у каждого чересчур много; издевательством унтер-офицер может довести рядового до потери рассудка, лейтенант – унтер-офицера, капитан – лейтенанта. И зная об этом, живо берет в привычку разные приемчики. Вот тебе простейший случай: мы возвращаемся с учебного плаца, усталые как собаки. И тут приказ: «Запевай!» Ясное дело, поём хило, ведь каждый и винтовку-то едва тащит, где уж тут петь. Роту заворачивают и в наказание назначают еще час шагистики на плацу. На обратном пути сызнова: «Запевай!» И на сей раз все поют. А какова цель? Ротный добился своего, потому как имеет власть. Никто его не упрекнет, наоборот, он слывет строгим поборником дисциплины. Причем это ведь сущая ерунда, у них есть способы и похлеще, чтоб помучить других. И я вас спрашиваю: кем бы человек ни был на гражданке, какую бы профессию ни исправлял, может он позволить себе такое и не схлопотать по морде? Нет, это возможно только в армии! Тут, вишь, у любого головка закружится! И тем сильнее, чем ничтожнее он был на гражданке.

– Так ведь без дисциплины-то никуда... – невзначай вставляет Кропп.

– Причины, – ворчит Кач, – у них завсегда есть. И пускай дисциплина. Но нельзя же превращать ее в издевательство. А поди растолкуй это слесарю, или батраку, или работяге, объясни рядовому, каких тут большинство; он видит только, что с него спускают шкуру и посылают на фронт, и в точности знает, что нужно, а что нет. Я вам вот как скажу: что простой солдат здесь, на фронте, все выдерживает, это не хухры-мухры! Да, не хухры-мухры!

Все соглашались, ведь каждому известно, что муштра прекращается лишь в окопах, а уже в считанных километрах от фронта начинается снова, пусть с величайшей нелепости вроде отдания чести и церемониального шага. Потому что железный закон гласит: солдата в любом случае необходимо чем-нибудь занять.

Однако в эту минуту появляется Тьяден, лицо в красных пятнах. Он так взбудоражен, что заикается. С сияющим видом произносит по слогам:

– Сюда едет Химмельштос. Откомандирован на фронт.

У Тьядена большущий зуб на Химмельштоса, так как в учебном лагере тот по-своему усердно его воспитывал. Тьяден мочится в постель, бывает с ним такое, ночью, во сне. Химмельштос упрямо твердил, что виновата здесь только лень, и измыслил весьма характерный способ излечить Тьядена. Отыскал в соседнем бараке еще одного бедолагу, по фамилии Киндерфатер, и определил соседом к Тьядену. В бараках стояли обычные двухэтажные койки, с проволочной сеткой. Химмельштос разместил этих двоих друг над другом, одного наверху, второго внизу. Нижнему, ясное дело, приходилось хреново. Зато следующим вечером они менялись местами, нижний занимал верхнюю койку, в порядке компенсации. Вот так Химмельштос понимал самовоспитание.

Затея пакостная, хотя мысль-то хорошая. К сожалению, результат оказался нулевой, поскольку ложной была исходная предпосылка: лень здесь ни при чем. Любой мог заметить, глядя на их землисто-бледную кожу. Кончилось тем, что один всегда спал на полу. И легко мог простудиться...

Тем временем к нам присоединился и Хайе. Он подмигивает мне и благоговейно потирает ручищу. Мы сообща пережили лучшие минуты своей армейской жизни. Было это вечером накануне отправки на фронт. Нас зачислили в один из полков с многозначным номером, но предварительно отвезли в гарнизон, для получения обмундирования, причем не в лагерь новобранцев, а в другую казарму. Отъезд – завтра, рано утром. Вечером мы улизнули отсюда, чтобы поквитаться с Химмельштосом. Слово себе дали, еще несколько недель назад. Кропп дошел даже до того, что вознамерился в мирное время изучить почтовое дело и позднее, когда Химмельштос станет вновь разносить письма, сделаться его начальником. И с упоением расписывал, как будет его тиранить. Потому-то Химмельштос и не сумел нас сломить – мы не теряли надежды когда-нибудь его прищучить, хотя бы и в конце войны.

Пока что решено было хорошенько намять ему бока. Нам-то ничего не грозит, если он нас не узнает, а утром мы ни свет ни заря все равно уезжаем.

Мы знали, в какой пивной Химмельштос торчал каждый вечер. Возвращаясь отсюда в казарму, он проходил по темной, незастроенной улице. Там-то мы и караулили за кучей камней. Я прихватил с собой наперник. Мы с трепетом душевным ждали, будет ли унтер один. Наконец послышались его шаги, точно его, не спутаешь, мы достаточно часто слышали их по утрам, когда распахивалась дверь и он орал: «Подъем!»

– Один? – прошептал Кропп.

– Один!

Мы с Тьяденом тихонько выбрались из-за кучи.

Вон уже взблеснула пряжка поясного ремня. Химмельштос, по всей видимости чуть навеселе, напевал и, ни о чем не подозревая, прошел мимо.

Подхватив наперник, мы тихонько метнулись вперед, нахлобучили ему на голову и дернули книзу, так что он стоял как бы в белом мешке и не мог поднять руки. Пение стихло.

Секундой позже подоспел Хайе Вестхус. Растопыренными руками отбросил нас назад, лишь бы оказаться первым. Предвкушая удовольствие, стал в позицию, развернулся – ручища как семафор, ладонь размером с совковую лопату – и отвесил по белому мешку удар, способный свалить быка.

Химмельштос кувырком отлетел метров на пять и начал орать. Но мы и это учли, потому что захватили с собой подушку. Хайе присел на корточки, положил подушку на колени, цапнул Химмельштоса за голову и прижал к подушке. Ор тотчас стал куда глуше. Время от времени Хайе давал ему вздохнуть, и тогда глухое бульканье оборачивалось роскошным звонким воплем, который тотчас снова притихал.

Тьяден отстегнул Химмельштосовы подтяжки и спустил ему штаны. Выбивалку он при этом держал в зубах. Потом встал и принялся за работу.

Восхитительное зрелище: Химмельштос на земле, Хайе, держа на коленях его голову, склоняется над ним, с дьявольской ухмылкой на лице и открытым от удовольствия ртом, потом дергающиеся полосатые подштанники, кривые ноги, при каждом шлепке выделявавшие в спущенных штанах диковинные вензеля, а выше – неутомимый Тьяден, словно этакий дровосек. В конце концов нам пришлось оттащить его чуть ли не силком, чтобы в свой черед поработать выбивалкой.

Затем Хайе поставил Химмельштоса на ноги и в заключение устроил маленький приватный спектакль. Широко размахнулся правой рукой, будто собираясь сорвать с неба звезды, и влепил Химмельштосу оплеуху. Тот рухнул наземь. Хайе поднял его, опять поставил перед

собой и на сей раз вмазал классный хук слева. Химмельштос взвыл и на четвереньках пополз прочь. Полосатая почтальонская задница поблескивала в свете луны.

Мы галопом смылись.

На бегу Хайе еще раз оглянулся и злобно, с сытым удовлетворением и слегка загадочно произнес:

– Месть – это кривожадность.

Вообще-то Химмельштосу надо бы радоваться, ведь его вечная присказка, что один всегда должен воспитывать другого, дала результат, который он ощутил на собственной шкуре. Мы прекрасно усвоили его методы.

Он так и не узнал, кто ему все это подсудобил. Тем не менее разжился наперником, ведь, через час-другой вернувшись на то место, мы его не нашли.

Благодаря этому вечеру уезжали мы утром вполне спокойные и решительные. И какой-то тип с развевающейся бородой растроганно назвал нас геройскими парнями.

## IV

Нас посылают на фронт строить укрепления. В сумерках подъезжают грузовики. Мы залезаем в кузов. Вечер теплый, сумерки укрывают нас словно одеяло, под защитой которого нам хорошо. Они сплачивают нас, скупердй Тьяден даже угощает меня сигаретой и подносит огонь.

Мы стоим плечом к плечу, впритирку, сидеть невозможно. Да мы и не привыкли. Мюллер наконец-то в хорошем настроении, на нем новые сапоги.

Ворчат моторы, машины дребезжат и лязгают. Дороги разбиты, сплошь в ухабах. Фары включать нельзя, поэтому мы громыаем прямо по колдобинам, так что едва не вылетаем из кузова. Однако нас это особо не беспокоит. Ну что может случиться, сломанная рука лучше дырки в животе, кое-кто чуть ли не мечтает об этакой удачной оказии вернуться домой.

Рядом длинной вереницей тянутся колонны подвоза боеприпасов. Торопятся, все время нас обгоняют. Мы отпускаем шуточки им вслед, они отвечают.

В поле зрения возникает стена – какой-то дом в стороне от дороги. Внезапно я настораживаю уши. Обман слуха? И опять отчетливо слышу гусиный гогот. Смотрю на Качинского, он – на меня; мы понимаем друг друга.

– Кач, я слышу кандидата в котелок...

Он кивает:

– Сделаем, на обратном пути. Я тут знаю, что к чему.

Конечно, Кач знает, что к чему. У него наверняка на учете каждая гусиная лапа в радиусе двадцати километров.

Машины добрались до позиций артиллерии. Чтобы авиация не засекала орудия, их замаскировали кустами, словно для этакого военного праздника в саду. Зеленые укрытия выглядели бы весело и мирно, не будь под ними пушек.

Воздух мутнеет от орудийного дыма и тумана. Во рту чувствуется пороховая горечь. Выстрелы так грохочут, что наш грузовик вибрирует, следом катится гулкий рокот эха, все качается. Лица у нас незаметно меняются. Нам не надо в окопы, мы здесь для строительства укреплений, но на лице у каждого теперь написано: здесь фронт, мы в прифронтовой полосе. Это еще не страх. Тот, кто столько раз, как мы, бывал на переднем крае, становится толстокожим. Вздуроражены лишь молодые новобранцы. Кач их поучает:

– Это был калибр тридцать и пять. По выстрелу слышать, а сейчас рванет.

Однако глухой отзвук попаданий сюда не достигает. Тонет в рокоте фронта. Кач прислушивается:

– Артобстрел нынешней ночью будет ого-го.

Мы все тоже прислушиваемся.

– Томми уже стреляют, – говорит Кропп.

Выстрелы доносятся отчетливо. Это английские батареи, справа от нашего участка. Они начали на час раньше. При нас всегда начинали ровно в десять.

– Чего это они надумали? – кричит Мюллер. – Видать, часы у них спешат.

– Говорю вам, обстрел будет ого-го, нюхом чую. – Кач вздергивает плечи.

Рядом с нами грохочут три выстрела. Струя огня наискось прошивает туман, орудия рычат и лязгают. Нас пробирает озноб, и мы радуемся, что рано утром опять вернемся в казармы.

Лица у нас не побледнели и не покраснелись больше обычного; в них нет ни напряжения, ни расслабленности, и все же они иные. Мы чувствуем, что в крови включен контакт. Это не пустые слова, а факт. И включает этот контакт фронт, осознание фронта. В тот миг, когда свистят первые снаряды, когда выстрелы рвут воздух, в наших жилах, руках, глазах вдруг

возникают опасливое ожидание, настороженность, усиленное внимание, странная восприимчивость всех чувств. Тело мгновенно приходит в состояние полной готовности.

Часто мне кажется, будто содрогающийся, вибрирующий воздух заражает нас своими беззвучными колебаниями и сам фронт излучает электричество, мобилизующее неведомые нервные окончания.

Всякий раз одно и то же: мы уезжаем хмурыми или веселыми солдатами, затем первые артиллерийские позиции – и любое слово наших разговоров звучит иначе.

Когда Кач, стоя у барачков, говорит: «Обстрел будет ого-го...» – он просто высказывает свое мнение, и всё; если же он говорит так здесь, ночью при луне фраза приобретает остроту штыка, с легкостью пронзает мысли, она куда ближе и своим мрачным смыслом – «обстрел будет ого-го» – обращена к пробудившемуся в нас подсознательному. Быть может, наша глубинная, сокровеннейшая жизнь, содрогнувшись, переходит к обороне.

Для меня фронт – зловеющий водоворот. Находясь вдали от его центра в спокойной воде, уже чувствуешь его силу, затягивающую тебя, медленно, неотвратно, без особого сопротивления. Но из земли, из воздуха к нам притекают охранительные силы – больше всего из земли. Ни для кого земля не значит так много, как для солдата. Когда он прижимается к ней, долго, страстно, когда лицом и всем телом зарывается в нее в смертном страхе перед огнем, она – единственный его друг, его брат, его мать, он выставляет свой ужас и крик в ее безмолвие и безопасность, она вбирает их в себя, и снова отпускает его на десять секунд бега и жизни, и вновь принимает его, порой навек.

Земля... земля... земля!..

О земля с твоими складками, ямами и впадинами, куда можно броситься, схорониться! Земля, в судороге кошмара, во всплеске истребления, в смертельном рыке разрывов ты дарила нам могучую встречную волну обретенной жизни! Неистовая буря почти в клочья изорванного бытия обратным потоком перетекала от тебя в наши руки, так что мы, спасенные, зарывались в тебя и в немом испуганном счастье пережитой минуты впивались в тебя губами!

Какой-то частицей своего существа мы при первом же грохоте снарядов мгновенно переносимся на тысячи лет вспять. В нас просыпается звериный инстинкт, ведет нас и защищает. Он не осознан, он куда быстрее, куда надежнее, куда безошибочнее сознания. Объяснить это невозможно. Идешь и не думаешь ни о чем – и вдруг лежишь во впадине, а над тобой во все стороны летят осколки, но ты не можешь вспомнить, чтобы услышал снаряд или подумал, что надо лечь. Если б доверился сознанию, уже был бы кучкой растерзанной плоти. Тут действовало то самое провидческое чутье, оно рвануло тебя к земле и спасло, а ты и знать не знаешь как. Не будь его, от Фландрии до Вогез давно бы не осталось ни единой живой души.

Мы уезжаем хмурыми или веселыми солдатами, а в зону, где начинается фронт, прибываем уже людьми-животными.

Грузовики въезжают в редколесье. Минуют походные кухни. За леском мы выбираемся из кузовов. Грузовики уезжают обратно. Утром, перед рассветом, они нас заберут.

Туман и пороховой дым висят над лугами на уровне груди, освещенные луной. По дороге идут войска. Каски тускло взблескивают в лунном свете. Головы и винтовки торчат из белого тумана, кивающие головы, покачивающиеся стволы винтовок.

Дальше впереди тумана нет. Головы оборачиваются фигурами; куртки, брюки, сапоги выныривают из тумана, как из молочного пруда. Формируются в колонну. Колонна шагает прямо вперед, фигуры сливаются в клин, одиночек уже не различить, лишь темный клин ползет вперед, странно пополняемый выплывающими из туманного пруда головами и винтовками. Колонна, не люди.



По боковой дороге подкатывают легкие орудия и патронные повозки. Спины лошадей блестят под луной, движения животных красивы, они вскидывают головы, сверкают глазами. Орудия и повозки скользят мимо на расплывчатом фоне лунного ландшафта, всадники в касках похожи на рыцарей минувших времен, неведомо отчего зрелище красивое, завораживающее.

Мы направляемся к складу инженерного имущества. Там одни взваливают на плечи витые острые железные пруты, другие продевают гладкие железные штыри в катушки с колючей проволокой – и снова в путь. Груз неудобный и тяжелый.

Местность становится все более изрытой. Передние предупреждают:

– Внимание, слева глубокая воронка... Осторожно, окоп.

Глаза напряжены, ноги и палки ощупывают почву, прежде чем принять тяжесть тела. Неожиданно резкая остановка – налетаешь лицом на катушку с проволокой, которую тащит идущий перед тобой, чертыхаешься.

Путь преграждают разбитые повозки. Новый приказ: «Туши сигареты и трубки». Мы возле самых окопов.

Между тем окончательно стемнело. Обходим лесок – и перед нами участок фронта.

Зыбкое, красноватое свечение по всему горизонту от края до края. Оно в безостановочном движении, в проблесках дульного пламени батарей. Над ним взмывают ввысь серебристые и красные шары сигнальных ракет, лопаются и дождем белых, зеленых и красных звезд сыплются наземь. А вот взлетают французские ракеты, раскрывают в воздухе шелковый зонтик и неспешно сплывают вниз. Они ярко, как днем, озаряют все вокруг, их свет достигает до нас, мы видим на земле свои резкие тени. Эти ракеты парят в вышине по несколько минут, пока не сгорят. И тотчас в воздух поднимаются новые, повсюду, а вперемешку с ними опять зеленые, красные, голубые.

– Заваруха, – говорит Кач.

Гром орудий усиливается до глухого слитного грохота и вновь распадается на залпы. Трещат сухие очереди пулеметов. Воздух над нами полнится незримой гонкой, воем, свистом и шипением. Это снаряды малого калибра; но чуть не ежеминутно сквозь ночь летят и крупнокалиберные чушки, тяжелые снаряды, взрывающиеся далеко за нами. Их вопли – трубные, хриплые, далекие, как у оленей во время гона, а путь пролегает высоко над воем и свистом снарядов помельче.

Прожектора принимаются ощупывать черное небо. Скользят по нему словно исполинские линейки, сужающиеся к концу. Вот один замирает, слегка подрагивая.

Сию же минуту рядом оказывается второй, они скрещиваются, между ними – черная букашка, пытается улизнуть: самолет. Ослепленный, он теряет уверенность, бестолково мечется.

Железные прутья мы забиваем в землю, на равном расстоянии один от другого. Катушку всегда держат двое, остальные разматывают колючую проволоку. Мерзкая проволока, с частыми длинными колючками. Я отвык разматывать и распарываю ладонь.

Через несколько часов все сделано. Но до приезда грузовиков еще есть время. Большинство ложится и засыпает. Я тоже пытаюсь. Только вот становится холодновато. Замечаешь, что море близко, от холода то и дело просыпаешься.

Один раз я засыпаю крепко. И когда вдруг резко подсакиваю, не знаю, где нахожусь. Вижу звезды, вижу ракеты, и на миг мне кажется, что заснул я на садовом празднике. Я не знаю, утро сейчас или вечер, лежу в бледной колыбели сумерек и жду ласковых слов, которые непременно придут, ласковые, спасительные... я плачу? Подношу руку к глазам, так странно, я еще ребенок? Нежная кожа... это длится секунду, потом я узнаю силуэт Качинского. Он сидит

спокойно, старый солдат, курит трубку, конечно же с крышечкой. Заметив, что я проснулся, говорит:

– Здорово ты подскочил. Всего-навсего фугас, вон туда, в кусты угодил.

Я сажусь, мне до странности одиноко. Хорошо, что Кач рядом. Задумчиво глядя в сторону фронта, он роняет:

– Вполне бы красивый фейерверк, кабы не такой опасный.

Позади нас взрывается снаряд. Несколько новобранцев испуганно дергаются. Через минуту-другую еще один, ближе первого. Кач выколачивает трубку.

– Мощный обстрел.

Началось. Мы отползаем, кое-как, в спешке. Следующее попадание – уже среди нас. Кто-то кричит. У горизонта поднимаются зеленые ракеты. Разлетаются комья грязи, жужжат осколки. Слышно, как они шлепаются наземь, когда грохот обстрела давно утих.

Рядом с нами лежит перепуганный белобрысый новобранец. Уткнулся лицом в ладони. Каска откатилась в сторону. Я подтаскиваю ее, хочу нахлобучить ему на голову. Он поднимает глаза, отталкивает каску и, как ребенок, прячет голову у меня под мышкой, жмется к моей груди. Узкие плечи вздрагивают. Плечи, как у Кеммериха.

Я оставляю его в покое. А чтобы от каски была хоть какая-то польза, водружаю ее ему на задницу, не от дури, а вполне сознательно, ведь это самая высокая точка. Мяса там, конечно, много, но раны чертовски болезненны, вдобавок в лазарете придется месяцами валяться на животе, а после почти наверняка хромоть.

Где-то крепко долбануло. Вперемешку с разрывами долетают крики.

Наконец становится спокойно. Огонь пронесся над нами и теперь обрушивается на последние резервные окопы. Мы решаемся глянуть вокруг. В небе порхают красные ракеты. Вероятно, будет атака.

У нас по-прежнему спокойно. Я сажусь, трясусь новобранца за плечо:

– Все позади, малыш! И на сей раз обошлось.

Он ошалело озирается по сторонам. Я утешаю:

– Ничего, привыкнешь.

Он замечает свою каску, надевает ее на голову. Медленно приходит в себя. И вдруг краснеет до ушей, вид сконфуженный. Осторожно ощупывает сзади штаны, смотрит на меня в мучительном замешательстве. Я сразу смеаю: окопная болезнь. Каску я положил ему на ягодицы, понятно, не для этого, но все же успокаиваю:

– Это не позор, после первого обстрела народ и покрепче тебя сидел с полными штанами. Ступай за кусты, выбрось подштанники, и порядок.

Он ретируется. Становится тише, но крики не умолкают.

– Что случилось, Альберт? – спрашиваю я.

– Прямые попадания по колоннам.

Крик продолжается. Это не люди, не могут люди так жутко кричать.

– Раненые лошади, – говорит Кач.

Я никогда еще не слышал, как кричат лошади, и просто не могу поверить. Там стонет беда мира, истерзанная тварь, дикая, кошмарная боль. Мы побледнели. Детеринг встает на ноги:

– Живомеры! Живомеры! Пристрелите вы их!

Он фермер и хорошо знает лошадей. Ему не все равно. И как нарочно, канонада почти смолкла. Тем отчетливее слышен крик животных. Уже не понять, откуда он берется в этом спокойном теперь, серебряном ландшафте, он незрим, зловещ, он повсюду между небом и землей, он нарастает сверх всякой меры... Рассвирепевший Детеринг вопит:

– Пристрелите их, пристрелите, мать вашу!

– Им же надо сперва вынести людей, – говорит Кач.

Мы встаем, ищем то место. Когда увидишь животных, выдержать будет легче. У Майера с собой бинокль. Мы видим темную группу санитаров с носилками и черные шевелящиеся глыбы. Это раненые лошади. Но не все. Несколько мечутся поодаль, падают и снова бегут. У одной распорот живот, из раны вывалились кишки. Она запутывается в них, падает, однако опять встает.

Детеринг хватает винтовку, прицеливается. Кач выбивает оружие у него из рук:

– Ты сбрендил?

Детеринга трясет, он швыряет винтовку на землю.

Мы садимся, затыкаем уши. Но страшные жалобы и стоны не заглушить, их слышно повсюду.

Все мы способны много чего стерпеть. Но тут нас прошибает холодный пот. Хочется вскочить и бежать отсюда, куда угодно, лишь бы не слышать этих криков. Притом кричат-то не люди, а всего-навсего лошади.

От темного клубка снова отделяются носилки. Затем щелкают выстрелы. Глыбы дергаются, уплощаются. Наконец-то! Но это пока не конец. Люди не могут подобраться к раненым животным, которые в ужасе бегут прочь, вся боль рвется криком из широко распахнутых пастей. Какой-то человек опускается на колено, выстрел – одна из лошадей падает, потом еще одна. Последняя, отталкиваясь передними ногами, вертится по кругу, словно карусель, сидит на крупе и вращается по кругу, выпрямив передние ноги; вероятно, у нее перебит позвоночник. Подбежавший солдат стреляет. Медленно, покорно она падает наземь.

Мы отнимаем руки от ушей. Крик умолк. Лишь протяжный замирающий вздох еще висит в воздухе. Потом опять только ракеты, свист снарядов и звезды – чуть ли не странно.

Детеринг идет прочь, ворчит на ходу:

– Хотел бы я знать, чем они-то провинились.

Позднее он снова подходит к нам. Голос у него взволнованный, почти торжественный, когда он произносит:

– Вот что я вам скажу: величайшая подлость – посылать животных на войну.

Мы начинаем обратный путь. Пора к грузовикам. Небо чуть посветлело. Три часа утра. Дует свежий прохладный ветер, тусклый час делает наши лица серыми.

Гуськом мы пробираемся среди окопов и воронок, опять попадаем в туман. Качинский встревожен, это дурной знак.

– Ты чего, Кач? – спрашивает Кропп.

– Хотелось бы сейчас быть дома.

«Дома», то бишь в бараках.

– Скоро будем, Кач.

Он нервничает:

– Не знаю, не знаю...

Мы уже в ходах сообщения, потом в лугах. Завиднелся лесок, здесь нам знакома каждая пядь земли. Вон и егерское кладбище – холмики и черные кресты.

В этот миг позади раздается свист, нарастает до рева, грохочет. Мы пригнулись – в сотне метров перед нами в воздух рвется туча огня.

Еще через минуту второй разрыв – кусок леса медленно вспучивается, три-четыре дерева взлетают в воздух, рассыпаясь на куски. А тем временем, шипя, как котельные вентили, приближаются очередные снаряды – шквальный обстрел.

– В укрытие! – рявкает кто-то. – В укрытие!

Луга совершенно плоские, лес слишком далек и опасен; иного укрытия, кроме кладбища и могильных холмиков, нет. Впотьмах ковыляем туда и, точно плевки, вмиг прилипаем за холмиками.

Очень вовремя. Темнота превращается в безумие. Бушует, неистовствует. Сгустки тьмы еще более темной, чем ночь, исполинскими горбами несутся на нас, пролетают над нами. Огонь разрывов заливает кладбище неверным светом. Деваться некуда. При вспышках разрывов я бросаю взгляд на луга. Там бурное море, острые языки пламени от снарядов бьют ввысь, как фонтаны. Не пройдешь, ни под каким видом.

Лес исчезает, расплюснутый, разодранный, раскромсанный. Надо оставаться здесь, на кладбище.

Земля прямо перед нами вздыбливается. Дождем сыплются комья. Я чувствую толчок. Осколок располосовал рукав. Сжимаю кулак. Не болит. Но это меня не успокаивает, раны обычно начинают болеть не сразу. Провожу ладонью по плечу. Поцарапано, но цело. И тотчас удар по голове, да такой, что сознание мутится. Молнией мелькает мысль: не терять сознания! Я погружаюсь в черную жижу и сразу же вынырываю. Осколок шарахнул по каске, но был на излете и не пробил ее. Я протираю глаза. Передо мной зияет воронка, я смутно ее различаю. Снаряды редко попадают в одно и то же место, поэтому стоит там укрыться. Бросаюсь вперед, распластавшись над землей, как рыба над водой, снова свист, я быстро съеживаюсь, ощущаю ищу укрытие, чувствую что-то слева, прижимаюсь, оно уступает, у меня вырывается стон, земля лопається, ударная волна грохочет в ушах, я заползаю под это уступчивое, укрываюсь им, это дерево, ткань, укрытие, укрытие, жалкое укрытие от града осколков.

Открываю глаза, пальцы стискивают рукав, плечо. Раненый? Я кричу, ответа нет – убитый. Рука продолжает ощупывать деревянные обломки, и тут я вспоминаю, что мы на кладбище.

Однако обстрел пересиливает все. От него теряешь голову, я заползаю еще глубже под гроб, пусть он будет мне защитой, даже если в нем сама смерть.

Впереди зияет воронка. Я не выпускаю ее из виду, цепляюсь глазами, словно кулаками, мне надо туда, одним прыжком. Тут я получаю удар по лицу, чья-то рука стискивает мое плечо – мертвец ожил? Рука трясет меня, я поворачиваю голову, в секундной вспышке вижу лицо Качинского, рот у него широко открыт, он кричит, но я ничего не слышу, он трясет меня, приближается; секунда затишья – и до меня доносится его голос:

– Газ... га-аз... га-аз! Передай дальше!

Я хватаюсь за футляр с маской... Чуть поодаль от меня кто-то лежит. Думаю я теперь лишь об одном: он должен знать.

– Гаааз... гаааз!

Я кричу, ползу к нему, бью его футляром противогаза, он ничего не замечает – еще раз и еще! – он только съеживается... это новобранец... Я в отчаянии оглядываюсь на Кача, тот надел маску, я тоже выхватываю свою, каска летит в сторону, я доползаю до парня, его футляр рядом со мной, хватаю маску, нахлобучиваю ему на голову, он дергает маску книзу... я отпускаю руки – и вдруг мигом оказываюсь в воронке.

Глухие хлопки газовых снарядов примешиваются к грому фугасов. Вдобавок гудит колокол, гонги, звон металла сообщают везде и всюду: газ... газ... гааз...

Позади меня что-то плюхается, раз и другой. Я протираю запотевшие стекла маски. Это Кач, Кропп и кто-то еще. Вчетвером мы лежим в тяжелом, настороженном напряжении, стараемся почти не дышать.

Первые минуты в противогазной маске решают о жизни и смерти: герметична ли маска? Мне знакомы жуткие лазаретные картины: пострадавшие от газа, целыми днями выкашливающие сожженные клочья легких.

Осторожно, прижав рот к патрону, дышу. Газ ползет по земле, сплывает во все углубления. Точно мягкая, широкая медуза, стекает в нашу воронку, заполняет ее. Я подталкиваю Кача: лучше выбраться отсюда и залечь наверху, ведь газ именно в ямах и собирается. Но мы не успеваем, опять ураганный огонь. Кажется, грохочут уже не снаряды, а бушует сама земля.

С оглушительным треском в воронку обрушивается что-то черное. Грохается прямо рядом с нами – вырванный из могилы гроб.

Я вижу, что Кач шевелится, ползу к нему. Гроб долбанул четвертого в нашей воронке по вытянутой руке. Солдат пытается другой рукой сорвать с себя маску. Вовремя подоспевший Кропп резко заводит ему руку за спину и крепко держит.

Мы с Качем стараемся освободить раненую руку. Крышка гроба разбита, держится кое-как, мы легко срываем ее, выбрасываем покойника, он катится на дно, потом пробуем расшатать нижнюю часть.

К счастью, солдат теряет сознание, и Альберт приходит нам на помощь. Теперь можно не слишком осторожничать, мы работаем изо всех сил, пока гроб со вздохом не уступает подсунутой под него лопатке.

Светает. Кач берет кусок крышки, подкладывает под разmozженное плечо, и мы обматываем его всеми своими индивидуальными пакетами. Больше мы сейчас ничего сделать не можем.

Голова в маске гудит, готовая лопнуть. Легкие напряжены, дышат все тем же горячим, спертым воздухом, жилы на висках набухли, кажется, вот-вот задохнешься...

Серый свет просачивается в воронку. По кладбищу гуляет ветер. Я приподнимаюсь над краем. В грязном сумраке передо мной лежит оторванная нога, сапог совершенно целый, сейчас я вижу все вполне отчетливо. Но вот несколькими метрами дальше кто-то встает, я протираю стекла, которые от волнения сразу же опять запотевают, смотрю – тот человек уже без противогаза.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.